

Записки из Мертвого дома

В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквями — одной в городе, другой на кладбище, — города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, — или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопчут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных иногородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто

встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Ивановича Гвоздиков, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Ивановича и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иванович не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговариваться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть, даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, — одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастья и сожалеют о них. Но, несмотря на всё это, чужак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересоваться мной. В нем было что-то загадочное. Разговариваться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его долгие расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось

какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я, ни с того ни с сего, сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздражил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею — как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти

позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибраться в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя. Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть, заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки — «Сцены из Мертвого дома», — как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика...